

Василий Белов

МОЯ ЖИЗНЬ

Автобиография

Родилась я в Ленинграде на Васильевском острове в апреле месяце тридцатого числа одна тысяча девятьсот тридцать второго года. Наша квартира была сначала на третьей линии, потом нам дали другую, и мы переехали к Нарвским воротам.

Папу я хорошо запомнила. Он был высокий, веселый, работал слесарем на заводе имени Кирова. Когда его оставляли на вторую смену, я каждый раз не ложилась спать. Помню, мама все время меня ругала, а я плакала и никак не хотела уснуть. Он приходил домой в рабочей одежде, и я засыпала, пока он переодевался и мылся в ванной. А утром я вставала раньше и ходила на цыпочках около его кровати, мама нам с братом Павликом не давала шуметь.

Мама у нас имела среднее образование. Она все собиралась пойти на работу, но, когда родился мой второй брат Витя, ей опять пришлось сидеть дома. Правда, вся обстановка у нас была, каждый месяц что-нибудь покупали. Но я тогда еще не задумывалась над этим, только слушала разговоры.

Наверное, это было самое счастливое время в нашей семье. Мы часто ездили в Петергоф и в Гатчину, ходили в гости к маминой сестре тете Нине, но тут началась война.

Было лето, мне исполнилось девять лет. Я собиралась осенью пойти уже во второй класс. Однажды утром я пробудилась от какой-то нехорошей тишины. Отец за столом разбирал свои документы. Павлик и маленький Витя еще спали, а мама сидела напротив отца и плакала.

На следующий день объявили мобилизацию. Папа ушел в военкомат уже с вещевым мешком, с кружкой, ложкой и полотенцем. Мы всей семьей провожали его до трамвая.

Помню, как папа перецеловал нас троих, потом обнял маму и сказал: «Ничего, Клава, — так звали мою маму. — Ничего, Клава, учти, что война будет короткая. Месяц, два — и управимся, опять все будем вместе».

Мама рассказывала, что перед отправкой на фронт он в лейтенантской форме еще раз приходил домой, но это было ночью, и я его не видела больше. А через месяц нам пришло извещение, что он пропал без вести. В тот же день был первый большой налет на Ленинград. На этом, можно сказать, кончилось мое счастливое детство. Мама каждый день плакала о папе. Все продукты мы получали по карточкам. К нам переехала жить тетя Нина — незамужняя мамина сестра. Первого сентября она повела меня в школу во 2-й класс, а обратно я прибежала сама, но тетя Нина каждый день стала водить меня. Мама работала по ночам, на дежурстве в госпитале, днем Павлик и Витя оставались с ней, и тетя Нина водила меня в школу. Однажды она повела меня в школу, и только мы прошли два квартала, как сразу объявили воздушную тревогу. Помню, посреди улицы стоял пустой трамвай. У него чего-то работало внутри, а ни водителя, ни людей в нем не было, все скрылись. Тетя Нина схватила меня в охапку и потащила в бомбоубежище, а из моего портфеля выпал пенал — и я заплакала. Мне было жалко карандаш и резинку. Тетя Нина все же успела схватить пенал, толкнула меня в подвал, на узкую лестницу, а я упиралась и не хотела идти. Потому что было тихо и нигде никакой бомбежки не было, только по радио все говорили и говорили, чтобы мы шли в убежище. Мне хотелось посмотреть на немецкие самолеты, думалось, что они совсем не страшные, и я все хотела бежать вверх по лестнице. Но тетя Нина крепко держала меня за руку. Помню, что в подвале сидело уже много людей, многие весело разговаривали. Вдруг все сильно вздрогнуло, и двери распахнулись. Потом так грохнуло, что я завизжала от страха. Больше ничего не помню. Помню только, что когда очнулась, то в подвале было темно, люди кричали кто что. От пыли нечем было дышать. Тетя Нина прижимала меня к себе, а я прижимала свой портфель с пеналом и книгой для чтения.

Когда мы вышли наверх, я увидела тот же трамвай уже с народом и вагоновожатой, все было, как и раньше. Но когда мы с тетей Ниной подошли к школе, то увидели, что на этом месте никакой школы нет. Дым шел от большой кучи кирпича, известки и земли. Дом, который был

рядом со школой, тоже развалился, пожарники и дружинники кричали и бегали. Машина с голубым кузовом стояла рядом, в нее затаскивали что-то страшное.

Тетя Нина охнула и потащила меня домой. С того дня я уже не ходила больше в школу. Зимой у нас перестало работать паровое отопление. Тетя Нина надевала на нас все одежды, какие были в шкафу. Маленький братик Витя заболел воспалением легких. Мама сходила за врачом, врач принесла каких-то капель в бутылочке и велела давать Вите утром и вечером. Но температура у Вити все не снижалась, и он умер. Я не могла понять, что это значит умер, и все спрашивала, почему Витя не говорит. Мама плакала. Тетя Нина завернула Витю в простыню, положила в чемодан и поехала куда-то на трамвае. Она вернулась домой без чемодана и дала нам с Павликом по прянику. «Вот, Танечка,— сказала она,— ешь да вспомняи Витю».

Я долго берегла этот пряник.

По карточкам уже не давали почти ничего. Нам все время хотелось есть, мы с Павликом сидели в пальто и в шапках, играли на полу около камина. Этот старый камин тетя Нина очистила, соскребла краску и сделала из него печь. Мы ломали забор во дворе и топили, но тепла было почему-то мало, а дыму много. Наконец тетя Нина где-то в другой комнате нашла задвижку и открыла ее. Дым с тех пор перестал валить в комнату. Тетя Нина привезла откуда-то полмешка мерзлой картошки, мы варили картошку в нашем камине.

Воду мы запасали в большую дубовую бочку, колонка работала редко. Бочку эту тоже прикатила откуда-то тетя Нина.

Как-то из ее разговора с мамой я услышала, что блокаду вот-вот прорвут, что скоро начнется большое наше наступление. К этому времени мы с Павликом уже привыкли к бомбежкам и наперегонки бегали в бомбоубежище. Тетя Нина не успевала за нами. У нее уже опухли ноги, и она все ругалась, но мы знали, что она ругает нас не заправду.

Однажды, это было уже весной, мы два дня совсем ничего не ели. Мама вернулась с дежурства, еле переставляя ноги, и закричала: «Где она? Опять в церковь ушла...» Мы с Павликом оба молчали. Нам было жаль тетю Нину, мы любили ее и не понимали, почему мама так ужасно ругает ее. Когда тетя Нина вернулась, мама опять начала ее ругать, потом расплакалась, упала на кровать и зажала

лицо подушкой. Тетя Нина присела к ней: «Какое тебе дело, Клава, что я в церковь хожу? Я тебе не указчица, не мешай и ты мне. Я никому ничего худого не сделала...»

Она ходила в церковь каждую неделю и рассказывала, кто что говорит. Ходили самые страшные слухи. Тетя Нина узнала от кого-то, что где-то составляются списки для эвакуации, что отправлять в первую очередь будут красноармейских жен и детей. Она долго уговаривала маму на то, чтобы выехать из Ленинграда. Мама не соглашалась сперва, но потом тетя Нина ее все-таки убедила. Не знаю уж, как это удалось тете Нине. Мама начала хлопотать о выезде, и я помню, как после дня моего рождения нас с Павликом одели и вывели в другую комнату. Тетя Нина и мама собрали два узла и два чемодана. Потом какая-то машина привезла нас далеко за город, и я помню только, что там было много людей, тоже с чемоданами и детьми. Кругом стоял плач и крик. Тетя Нина приехала нас провожать, сама она ни за что не хотела эвакуироваться. Мы услышали гул самолетов и бросились в какой-то сарай, нас чуть не раздавило машиной. Поднялся ужасный шум и паника. Но оказалось, что самолеты летели наши, а не немецкие. Я помню, как какой-то военный с наганом в руке вскочил на крышу сарайчика, начал стрелять в воздух. Потом он стал выступать и говорил, что это позор для ленинградцев, что нельзя оставлять город в такую минуту. Нас с Павликом опять погрузили в машину. Мы вернулись в город, но уже не домой, а к тете Нине. Мы остались у нее, потому что в этот район немецкие снаряды долетали очень редко.

Не буду и вспоминать, что мы пережили за это лето и зиму. Мне все равно никто не поверит. Когда прорвали блокаду, нас с мамой и Павликом вывезли из Ленинграда в Вологду. Это было в январе месяце сорок третьего года. Но я ничего этого не запомнила. Помню, как в Вологде меня кормили чем-то горячим с чайной ложечки и как маму прямо из вагона унесли на носилках.

Тетя Нина осталась в Ленинграде, и мы решили, что она умерла.

Все трое — я, мама и Павлик, — мы до самой весны пролежали в больнице. Сначала лежали в разных палатах, а после главврач — женщина — распорядилась, чтобы нас поместили вместе. Правда, в этой же палате лежали еще шесть человек женщин, не эвакуированных, а местных, из

Вологды. Они, как могли, помогали нам, все нас жалели. Особенно одна, по имени тетя Паня, у которой вырезали язву желудка. Тетя Паня была на всю палату одна ходячая, когда я очнулась. Она увидела, что я очнулась, и говорит: «Ну, вот, милая, и хорошо. Пойдешь теперь на поправку».

Я испугалась сначала. Но потом вижу, рядом Павлик и мама лежат, вроде бы спят. Едва поднялась. У Павлика шея как спичка, голова большая, еле держится, а сам уже сидит. Маму мы не стали будить, а тетя Паня достала из тумбочки что-то, в бумажке завернуто. «Нате-ко,— говорит.— Сколько дней берегла, никому не показывала». Я развернула бумажку, в ней были завернуты два коричневых орешка.

Тетя Паня и научила меня вязать крючком кружева. Когда она выписалась, то оставила мне этот крючок и две катушки ниток сорокового номера. Она оставила нам и свой адрес.

Павлик уже всюду бегал по палате, а мы с мамой едва ходили, когда нас выписали. Дали пособие и направили в один район, в деревню. Мама даже не могла поднять чемодан. Оделись в свое, вышли и сидим на больничном крыльце. Не знаем, что делать. Больные идут мимо нас, поздравляют, а мы сидим и сидим, как будто отдыхаем. Я говорю маме: «Мамочка, попроси, чтобы нас на лошадке отвезли». А мама боится спросить и говорит: «Молчи, Таня, а то нас не отпустят, опять в больнице оставят». Встала, хотела взять чемодан и чуть не упала. Вот мы и опять сидим. Видно, кто-то сказал про нас главврачу. Она прибежала. «Что вы,— говорит,— разве можно так? Сказали бы сразу». В больнице была своя лошадь, один старичок возил на ней воду. Забыла я, как звали того старичка. Он вычерпал воду, привязал наш чемодан к бочке и говорит: «А вот вас-то куда, голубчики?»

Места на повозке не было. Тогда он посадил меня и Павлика наперед, взял длинную такую веревку и привязал нас к бочке, чтобы не упали. А маму пристроил сзади. Сам взял вожжи и пошел рядом с повозкой. Так и приехали на вокзал. Старичок сперва нас отвязал и снял на землю, потом чемодан: «Ну,— говорит,— извините, пожалуйста, а мне некогда, надо ехать». И мы остались одни на вокзале. Мама все время боялась за наш чемодан, да и с билетами было очень трудно. У кассы многие стояли в очереди третьи сутки. Мама сидит на чемодане и плачет. Нас увидел ми-

лиционер и спрашивает, кто мы такие? Куда едем? Когда он все узнал, то пошел куда-то, потом вернулся и спрашивает: «Деньги-то есть у вас?» И сказал, сколько надо на билет до нашей станции. Он взял у мамы деньги и примерно через час принес нам билеты, один взрослый и два детских. Он и в вагон сесть тоже помог. Мама открыла чемодан, достала красивый, еще папин, галстук и подает ему. А он замахал руками: «Что вы,— говорит,— что вы. Езжайте, еще пригодится». И ушел. (Позже, когда я уже стала большая, я его увидела в Вологде. Хотела подойти, сказать или поблагодарить его за тот случай, но постеснялась.) Вечером мы приехали на свою станцию, соседи по вагону нам помогли выгрузиться. И вот стоим на полотне, опять не знаем, что делать. Поезд ушел, все тихо. Станция совсем маленькая. Колхоз наш назывался «Красный пахарь». Но мама не знала даже, в какой он стороне от станции и сколько до него километров. Мне хотелось пить, а Павлик просил у мамы хлеба. Какая-то тетя с ведрами пришла за водой к водокачке. Она остановилась и спросила у мамы, чьи мы, откуда и куда едем. Узнала, как нас зовут. Помню, она сначала отнесла воду домой, потом пришла к нам опять, помогла зайти на вокзал и сказала, что надо конных возчиков, которые возят на станцию ивовое корье. Она сказала еще, что некоторые останавливаются у них в доме и что она пошлет их за нами сюда, когда приедут из «Красного пахаря».

Мама дала нам поесть, уложила в вокзале на широкой скамье. Мы сразу уснули. А ночью я, даже не помню как, очутилась в повозке. Открыла глаза и вижу, как лошадь мотает хвостом, слышу, как скрипит наша большая телега. Павлик спит, а мама разговаривает с девушкой, которая сидела на лошади. Помню только, что девушка была обута в сапоги, от них пахло дегтем, еще помню, что ночь была светлая и комары очень кусались. Мама прикрыла меня платком, я опять уснула, но пробуждалась еще много раз.

Лошадь все идет и идет, телега трясется и скрипит. Так мы ехали всю ночь, а утром я пробудилась от солнышка. Девушка поила нашу лошадь из какой-то речки. Потом она распрягла ее, но хомут не сняла. Привязала один конец вожжей к уздечке, а другой к телеге и пустила лошадь пастись. А я опять уснула и проснулась только тогда, когда снова поехали. Никогда ни я, ни Павлик не видели столько травы! Проезжали мы и через большие дерев-

ни, и через длинный лес. Потом проехали мост и подъехали к деревне. Девушку, которая нас везла, звали Капой. Она остановилась у одного дома и говорит: «Вот, наверное, тут вы будете жить. Мы еще на Первый май полы вымыли». Это и был наш «Красный пахарь». Нас здесь ждали давно. Мама оставила нас с Павликом в доме, дала хлебца и пошла в сельсовет в другую деревню. К нам в избу сразу набежало множество ребят из разных домов. Они молча глядели на нас, сидели, сидели на лавках и вдруг, как по команде, выбежали на улицу. Павлик заплакал: «Почему убежали все?» А я и сама не знала почему. Мы вышли тоже на улицу. Увидели Капу, которая нас везла. Капа велела своему маленькому брату глядеть за нами и не обижать, он пообещал, а она повела куда-то нашу лошадь. Капин брат подошел к нам и спрашивает: «А вы окувыренные?»

И мы стали играть на лужке.

В тот же вечер, когда мама вернулась из сельсовета, к нам пришло так много народу, что на лавках не было места. Все принесли нам чего-нибудь: кто соли в спичечном коробке, кто прошлогоднюю брюкву. А когда одна тетя принесла и поставила в кухне бутылку молока, мама совсем расплакалась и не знала, что говорить.

Все просили рассказать, кто мы, откуда, какие есть у нас родственники и где они, сколько лет нам с Павликом и все, все. И с этого первого дня к нам часто стали ходить люди. Они слушали, а мама подолгу рассказывала о ленинградской блокаде.

Так мы начали жить в деревне. Нам рассказали, что дом, который нам отвели, стоял много лет заколоченный, что хозяева уехали из деревни во время раскулачивания. В доме так все и осталось нетронутым, вплоть до чугунов и ухватов. Мы начали поправляться, хотя в деревне давно не было никакого хлеба. Люди питались какими-то провеянными отбросами и костерой, сушили ее в печах, толкли в ступах или мололи на ручных жерновах. У некоторых была еще прошлогодняя картошка и брюква. Собирали ягоды и грибы, щавель и гибли. Все с нетерпением ждали свежей картошки. Корова была уже не в каждом доме. Некоторые держали одну корову на два или три хозяйства. Молоко, почти все, надо было сдать государству. Не помню, кто посоветовал нам посеять ячмень. Мама еще успела вскопать огород и посеять ячмень. На хороший атласный платок она выменяла у Капы лукошко семян. Мы боялись, что ячмень не взойдет либо не вызреет и что наши труды

пропадут. Но прошел дождик, и ячмень взошел. Он рос очень быстро. Мы с Павликом каждое утро, как пробудимся, бежим смотреть. Выходы были большие и дружные, вскоре у них появились зеленые усики. Мама тоже радовалась вместе с нами. В местном сельпо по решению сельсовета маме выписали две иждивенческие карточки. Мы каждый месяц получали в магазине по шесть килограммов муки. Хотя еды все равно нам не хватало, все колхозники маме завидовали, в колхозе они не получали и этого. Карточек колхозникам не полагалось, их получали только учителя и другие служащие. Многие ходили с толстыми опухшими ногами, рвали клеверный цвет, сушили и толкли в ступах. В эту муку добавляли толченой картошки и пекли, но лепешки не получались и рассыпались на противне. Приходилось брать их щепотками и сыпать в рот. От какой-то болезни начали дохнуть колхозные кони. Их обдирали, разрубали и делили куски по жребию. Кто-нибудь из стариков или подростков отворачивался и закрывал лицо кепкой, а другой указывал на кусок мяса и спрашивал: «Этот кому?» Тот, кто отвернулся, должен был назвать фамилию и выкрикивал наугад, поэтому не было никакой обиды.

Летом мы с мамой ходили сперва косить, потом дергать лен. Павлик сидел в траве, а мы дергали вместе с другими женщинами. Я быстро научилась вязать льняные снопы. За два месяца мы с мамой выработали сорок два трудодня. Бригадиром в деревне была одно время та самая девушка Капа, которая везла нас со станции. Она выписала на меня отдельную трудовую книжку и записывала в нее все, что я делала. «Вот, Таня,— говорила она,— смотри, сколько у тебя трудодней, скоро будет не меньше, чем у мамы». К нам часто бегали Капины братики, мы купались на речке и собирали чернику. Еще мы очень подружились с одной семьей по фамилии Смирновы. Но их почему-то все называли Феклухиными, потому что у бабы Густы было прозвище Феклуха. Однажды мама послала меня к бабе Густе за ножницами. Я пришла и говорю: «Тетя Феклуха, дай ножницы, меня мама послала». Она дала ножницы, погладила меня по голове и говорит: «Ты, матушка, меня так не зови. Зови Августой либо бабушкой».

Баба Густя жила одна в небольшой избе. У нее было сначала пять сыновей, но троих уже убили на фронте. Двое тоже были на войне. Один — женатый — оставил дома жену Марию, которую мы звали просто Маня. У Мани имелось

трое детей, одна девочка Катя была моя ровесница. Баба Густя половину времени проводила у них, с Катей они часто ходили с корзинами щипать клеверный цвет. Усядутся в клеверище и щиплют. Потом умнут корзины и опять щиплют. Однажды председатель колхоза ехал на лошади, увидел их на клевере и закричал, но баба Густя сама обругала его. У Смирновых, как и у всех, почти никогда ничего не было есть. Они всех раньше начали подрывать свежую картошку. Но картошка была еще только по пуговке, одни беленькие зародыши. Однажды Катя прибежала к нам и опять попросила наши ножницы. Мамы дома не было, я дала Кате ножницы. Дня через три Катя отозвала меня за палисадник и шепотом рассказала, зачем нужны были ножницы. Оказывается, они с бабушкой ходили ночью в поле, в колхозную рожь отстригать колоски. За один раз наостригали решето колосков. Баба Густя тихонько вылушила зерна, провеяла, высушила в печи и смолочила на ручных жерновах. Потом она сварила из этой муки вкусную кашу. Правда, опять не вытерпела и добавила в нее клеверной черной муки.

Я хорошо помню тот день. Незадолго до этого маленький Катин братик сказал ребятишкам на улице, что бабушка варила «лзаную» кашу. Через день председатель колхоза взял двух понятых — учительницу и налогового агента, — все неожиданно пришли к Смирновым. Они долго ходили по сараю, в летней и зимней избе. Уже собирались было уходить, но маленький Катин братик пальчиком показал под комод: «Тут лесето».

Открыли комод и увидели решето с колосьями и нашими ножницами. Составили сразу акт на бабу Густю и Катю, но тут с поля прибежала тетя Маня. Она заплакала. Говорили, что она испугалась за Катю и сказала, что ходила стричь колосья не Катя, а она, то есть тетя Маня. Баба Густя громко ругалась на всю деревню. Я помню, как тетю Маню, Катину мать, вызывали в сельсовет на следствие, а потом вызвали в район, на суд, и больше не отпустили. Мамины ножницы увезли в район как доказательство. Так они там и затерялись. Тете Мане дали полтора года заключения. Баба Густя забрала Катю и двух ее братиков к себе в избушку. Они и жили вчетвером больше года, пока тетя Маня не вернулась из заключения.

Наш ячмень в то лето вырос очень хороший, баба Густя помогла маме сжать его серпом. Она связала из него снопы, мы высушили их в бане. Потом разостлали на лужке

большую подстилку и начали околачивать снопы колотушками, потом провеяли зерно на ветру. Мы всю зиму варили ячменную кашу. На следующую весну мама выменяла на папин костюм мешок картошки, и весной мы посадили целых четыре грядки. Но это уже было в сорок четвертом году, а я помню еще лето, которое было первое после нашей эвакуации.

В нашем колхозе стояла тогда небольшая воинская часть. Красноармейцы косили сено для артиллерийских коней. В нашей деревне жил старший лейтенант, но не все время, а приезжал недели на две, пока красноармейцы косили. Мы часто бегали к ним, они тоже ночевали в ничейном доме. Только старший лейтенант жил на квартире.

Один раз вместе с Катей мы пришли к ним и слышим, что в той половине дома очень шумно. Хозяйка унесла туда только что вскипевший самовар. Я видела, как побежали за вином в магазин двое больших ребятшек. Старший лейтенант дал им за это по одному разу выстрелить из нагана. Потом он подозвал меня и завел в ту половину дома. Мама сидела там за столом и пела песню «Прощай любимый город». Раньше эту песню часто пел папа. Старший лейтенант усадил меня за стол, дал большой кусок сахара, но я заплакала, бросила сахар на пол и убежала домой. Мне было почему-то очень тревожно и грустно. Я весь вечер проплакала и все поджидала маму. Она пришла поздно, когда я уже уснула нераздетой. Я проснулась, но лежала не шевелясь, а мама укрыла меня одеялом и ушла в комнату. Я слышала, как наши ворота тихонько хлопнули и как кто-то вошел по лестнице в комнату. Павлик спал рядом, в нашем чулане. А я не могла уснуть, мне было почему-то тревожно и больно. Я не выдержала, вскочила на ноги и забежала в комнату. В комнате пахло папиросным дымом. Старший лейтенант лежал на маминой кровати и курил. Не помню, что со мной было. Помню только, что мама впервые в жизни за руку вытащила меня в коридор и побила. Я, рыдая, убежала из дому, спрятавшись в каком-то сарае, набитом сеном. Я решила тогда, что возьму Павлика и убегу от мамы. Меня искали по всей деревне всю ночь и на следующий день, а я не выходила из сарая, прислушивалась. Я вспоминала папу и ненавидела этого старшего лейтенанта. Я готова была сделать с ним что угодно. Меня нашла в сарае уже вечером баба Густя. Она увела меня к себе, утешила, накормила и успокоила. Но я хорошо знаю, что с того времени во мне что-то измени-

лось, какая-то тоскливая боль занозой засела в сердце и не проходит. Я знаю, что и до сих пор я не простила маме этого страшного лета. От папы не было никаких вестей.

Я заканчивала третий класс, когда пришел День Победы.

Все думали, что теперь, когда война кончилась, жизнь сразу наладится. Но в сорок шестом году опять начался голод, еще сильнее чем во время войны. Я училась в шестом классе неполной средней школы, когда мама простудилась и заболела. Школа наша была в десяти километрах от нашей деревни. Мы жили при школе, ходили домой только на воскресенье. Питались почти одной картошкой. У некоторых не было вдоволь и картошки, но у нас никогда не было никакого воровства. В классе я была всех старше и всех рослее, от этого мне было все время стыдно. Ведь по годам я должна была учиться уже в восьмом. Однажды учительница зашла в класс и говорит: «Таня, я освобождаю тебя от второго урока. Тебя на медпункте ждет мама».

Я пришла в медпункт, он был в другом доме, гляжу, маму, раздетую, осматривает фельдшерница. У мамы была сильная температура. Ее сразу одели, вывели из медпункта, закутали в саях в одеяло. Она только успела погладить меня по голове и сказать: «Учись, Танюшка, лучше выполняй домашние задания». Тетя Маня повезла ее в больницу за двадцать километров от нашей школы. Я подъехала с ними недалечко, а мама вся закутана. Тетя Маня гонит меня в школу: «Иди, иди, Таня, видишь какой холод!» Я заплакала и не слезала с саней, а мама и не слышит меня.

Она пролежала в больнице только дней десять и умерла, — мне сказали об этом на уроке ботаники. Я убежала из класса...

Так мы с Павликом стали круглыми сиротами. Павлика взяла к себе тетя Маня, а я еще успела закончить шестой класс. Нас решили отправить в детдом. Но тетя Маня попросила в сельсовете, чтобы Павлика пока не отправляли. Он временно остался в деревне, а меня отправили, это случилось летом.

Меня привезла в детдом тетенька из райисполкома, сдала под расписку директору. Директор побеседовала со мной и приказала одной женщине провести со мной санитарную обработку. Я еще не знала, что это такое. Сердитая тетка взяла меня за руку, отвела в баню и велела раздеться. Я стеснялась раздеваться при ней, а она закры-

чала: «Ну, принцесса, чего глядишь! Скидывай шмутье да иди стричься». И она подошла ко мне с ножницами. У меня были большие косы, я в ужасе бросилась к двери. Но двери были закрыты, я заплакала. Обе мои косы отстригли, и я не помню, как тетка мыла меня в холодной бане, как одевала в детдомовское...

В комнате нас жило восемнадцать человек девочек. Многие были старше меня, некоторые курили и говорили нехорошие ругательства. Я думала, что схожу с ума. Не знаю, как я прожила два этих месяца. Кормили нас плохо. Мальчишки жили в другом здании и подглядывали по вечерам к нам в окна. Они ругались и пели нецензурные частушки. Ко всему, я почти сразу же заразилась чесоткой, не знала, что делать, стыдилась сказать об этом и все время мучилась, особенно по ночам. К тому же я была самая рослая в комнате, и меня прозвали обидным нехорошим прозвищем. Я плакала и все вспоминала нашу деревню, Павлика, тетю Маню и бабу Густю.

Однажды у одной девочки пропало круглое зеркальце. Сказали, что это я украла его. На меня набросилась вся комната... Я вырвалась и убежала в уборную, а вечером после ужина решила убежать из детдома. Я помнила и знала дорогу к райцентру... После отбоя комната еще долго не спала, стоял шум. Зашла воспитательница — все затихло. А когда ушла — опять все по-прежнему, кто поет, кто плачет. Наконец все уснули. Я взяла из тумбочки мамину кофточку, потом тихо вышла в коридор. Наружная дверь запиралась ночью на ключ. Дежурный воспитатель, наверное, дремала в это время в Ленинской комнате, или ее совсем не было. Я потихоньку прошла к окну в конце коридора. Форточка в нем была большая, но размещалась высоко. Тогда я тоже тихонько прошла в уборную, я помнила, что одна доска там оторвалась и имелась узкая щель на улицу. Я долго расшатывала другую доску. В это время кто-то из девочек, слышу, бежит в уборную, я притворилась, что тоже... Девочка была сонная и из другой комнаты. Она убежала, а я опять начала расшатывать вторую доску. Расшатала и вылезла, хотя сильно разорвала платье.

Ночи стояли еще светлые, белые. Я бросилась без оглядки к заборчику, перелезла и даже не заметила, как до крови разодрала колено. Никто меня не окликнул. Я километра два бежала бегом по дороге. Когда-то я ехала тут на телеге с Капой, с мамой и Павликом.

Было уже утро, по деревьям пели петухи, выгоняли ко-

ров. Я присела у одного гумна около дороги и заснула, пригрело солнышком.

Меня разбудило фыркание лошади, я вскочила. Какой-то дяденька ехал на телеге в нашу сторону, увидел меня и спросил: «А ты, девушка, чего тут сидишь? Садись, ежели по пути». Я сказала, что ездила в район за справкой. Он покачал головой и хлестнул вожжиной по лошади.

К вечеру мы подъехали к нашей деревне. Дяденьке надо было дальше, он покормил лошадь у нашей речки и поехал, а я огородами прошла к бабушке Густе. Избушка была заперта на замок. Никто в ней не жил. Я испугалась сначала, сердце так забилося, что не могу идохнуть. Потом догадалась, что бабушка Густя, наверно, живет вместе с тетей Маней. Я подошла к дому...

Бабушка Густя пилила дрова вместе с Павликом. Она охнула, схватила меня в охапку, и обе не можем сказать слова. Она оглядела меня с ног до головы, заплакала: «Ой, Танюшка... Дитятко... Ну-то, сердешная ты моя...»

Я разрыдалась, а Павлик глядел, глядел на нас — да и тоже зашвыркал носом. Тут я прижала его к себе. Такой он был худенький, маленький, чувствовалась каждая косточка...

На другой день я пошла с тетей Маней косить. Всю неделю я ходила сама не своя, боялась, что отправят обратно. Но тетя Маня не отправила меня в детдом, а про бабу Густю и говорить нечего. За полмесяца я заработала двадцать пять трудовней.

Однажды я пришла с поля и слышу: в избе разговаривают. У меня обмерло сердце. Двери были открыты. Я прислушалась и слышу голос председателя сельсовета. Оказалось, что из детдома и райсобеса пришло распоряжение вернуть меня в детдом, а Павлика отправить в другой... Я спряталась на сарае в самом дальнем углу и не выходила, председатель так и ушел. Ни тетя Маня, ни баба Густя не сказали мне ни слова, когда я пришла вечером в избу. А утром я опять пошла загребать сено и метать стог. Меня вызывали в сельсовет, я не шла. Председатель приходил к нам, говорил, что отправим в детдом... Но до осени я заработала шестьдесят трудовней, председатель колхоза зачислил меня на ударную доску. Так и остались мы жить у тети Мани, нас больше не посылали в детдом. Однажды тетя Маня позвала меня в летнюю половину, открыла шкаф и говорит: «Вот, Таня, гляди сама, все цело, никуда не девалось ни одной ниточки». И выложила на

стол женский костюм, три мамины платья, папину пыжиковую шапку и дамскую меховую муфту. Это было все, что осталось у нас с Павликом, остальное мы променяли еще задолго до этого.

Я взяла шерстяной мамин костюм и подала его тете Мане, она заотказывалась. Но я так ее просила взять, что тетя Маня расплакалась. Она ни за что не хотела брать. Тогда мы договорились, что костюм я оставляю себе, а она возьмет шерстяное серое мамино платье. «Что ты, Таня,— говорила она,— ты ведь считай что невеста. Все самой пригодится».

Но я видела, как она довольна и счастлива. Мы тут же примерили ей мамино платье. Муфту и папину шапку мы продали и купили взамен костюмчик Павлику. На остальные деньги тетя Маня заказала ему сапоги, а мне купили боты, и у меня теперь все основное было, кроме пальто. Зимой я носила фуфайку тети Мани и все же закончила семилетку.

Никогда, вовек я не забуду этих людей, ни тетю Маню, ни бабу Густю.

В сорок девятом году мне исполнилось семнадцать лет. Мой брат Павлик тоже подрос и уже перешел в четвертый класс. Но я все еще не ходила на деревенские гулянья. А ведь тогда в деревнях было много молодежи, хотя ребята и девушки подолгу жили на лесозаготовках.

Однажды сидим за самоваром, а тетя Маня чашку налила и говорит: «Ну-ко, Таня, допивай да сходи к церкви. Платье надень да и сходи. Чего раскраснелась-то? В твои годы гулять да гулять».

Я не знала, куда деть глаза, а она словно нарочно: «И нечего. Ты вон какая у нас баская девка».

Гулянья собирались летом у старой церкви. Там было красивое место, горюшка и озеро. Ребята и девушки ходили вдоль дороги, плясали и пели. Издали я много раз видела, как парень, вначале как бы шуткой подхватывал девушку под руку, и они шли словно бы просто так. Потом уходили к соснам, в тихое место. Мне казалось, что со мной никогда так и не будет, что я хуже всех...

Тетя Маня чуть не за рукав поволокла меня в летнюю половину, сама достала из шкафа мамино платье и новые боты: «Скидывай свое детдомовское! — Я ведь все еще ходила в старом детдомовском платье.— Вон Капка пойдет, так и тебя возьмет!» Она и впрямь кликнула в окно Капу, ту самую, что привезла нас когда-то со станции. Капа

зашла к нам и похвалила меня. Взяла под ручку, потащила с крыльца. И я пошла с ней к церкви, там уже наигрывала гармонь...

Никогда не думала, что и я буду такая счастливая, что все мое горе забудется. Я в то же лето научилась плясать и петь по-местному, а осенью уже не пропускала ни одного гулянья. В соседней с нами деревне жил один парень Костя по фамилии Зорин. Не то чтобы он был очень красивый или в чем-то особенный. Парень как парень. Но один раз мы с ним на одной лошади возили снопы овса. Я подавала, он укладывал. Снопы эти короткие, толстые, надо было уметь их складывать, иначе воз мог развалиться по дороге в гумно. Мы наложили однажды очень большой воз и стянули веревками. Костя пошел рядом с лошадыю, а я забралась наверх. Поехали. Дорога была неровная, воз растрясло. Я вдруг почувствовала, что веревки ослабли. Снопы поползли из-под меня и начали падать на дорогу. Лошадь остановилась, снопы ползут и ползут. Я их держу в одном месте, а они в другом ползут. И до того мне стало смешно, что я хохочу как дурочка. Так весь воз и разъехался в разные стороны. А Костя стоит посреди дороги, совсем растерялся. Не знает, что и делать. Лицо у него такое огорченное, напуганное стало, совсем как у моего Павлика, а ведь он был старше меня, и я боялась его. И так мне запомнились его огорченные глаза, что я вспоминаю их всю жизнь. Я перестала хохотать, мы сложили снопы заново. Ничего как будто и не было. Но с того дня я все время начала думать о нем. Я знала, что он ни с кем не ходит взаправду, и все ждала, что он подойдет ко мне на гулянье. И он подошел однажды, у всех на виду взял меня под руку. Сперва мы даже не знали, о чем говорить. Такой он был стеснительный, вежливый, что так и не осмелился ни разу поцеловать, хотя каждый раз провожал в деревню. Вскоре его должны были взять в армию. Я пообещала ему, что буду ждать, что мы сразу поженимся, как только он вернется со службы.

Но, видно, не суждено было сохраниться нашему с Костей счастью. Судьба развела нас в разные стороны...

Зимой в наш сельсовет пришла разнарядка: отправить двух человек в ремесленное училище. Когда я узнала, что намечают меня, то обрадовалась, я уже мечтала тогда о городской жизни. Мне хотелось учиться дальше. Но что-то будет у нас с Костей? Тогда я еще не задумывалась о жизни всерьез, поехала в ремесленное, и он пришел меня про-

вожать. Мы договорились, что будем часто писать друг другу. Так и кончилась моя деревенская жизнь, я стала совсем взрослая. Тогда все вокруг казалось таким интересным.

Я не хочу жаловаться на свою жизнь, хотя иногда приходилось и очень трудно. Было у меня все, и хорошее, и плохое. Не знаю уж, которого больше. Но в жизни хорошее запоминается больше.

В ремесленном я быстро привыкла. Училась хорошо по всем предметам. Правда, еды и здесь не хватало, но с детдомом нельзя было сравнивать. Кроме рабочей, нам выдали красивую шерстяную форму. Я попала в группу сеточников, мы изучали бумагоделательные машины и технологию бумажного производства. Раз в неделю нас строем водили в кино. Иногда после отбоя мы убегали в самоволку в горсад, смотрели на танцы. На второй год в училище стали устраивать свои вечера, и я познакомилась с одним молодым человеком. Не буду говорить его фамилию. Звали его Сашей, он уже работал на комбинате. Однажды мы пришли с подружкой на танцы в горсад. Меня провожал оттуда наш ремесленник Толя. (Забыла сказать, что мы давно уже дружили с Толей, договорились вместе поехать по распределению.) Толя был рослый, широкоплечий, но несмелый, хотя и занимался в боксерском кружке.

Мы идем с ним по темной дорожке, и я вижу: Саша стоит на пути с каким-то приятелем. Ждут нас. Только я хотела свернуть в сторону, а меня как будто кто-то тычет под бок, и я говорю: «Пойдем прямо, Толик!» Мы подошли, а они загородили нам дорогу: «А ну, отойдем на пару слов!» — говорит Толе Сашин приятель. Саша остался со мной, а они отошли за кусты и начали драться. Саша подхватил меня под руку и увел. С ним я встречалась раз в неделю, а Толика видела каждый день, и Толик не знал, что я встречаюсь с Сашей. Мне нравились они оба, хотя и по-разному. Толика я очень любила... Но с Сашей мне было всегда как-то жутко, так жутко, что я забывала сама себя. Он не жалел ни себя, ни меня. Однажды он пригласил меня домой на свой день рождения. Я пошла и вижу, что дома у него никого нет, кроме старой глухой бабушки. Он достал из шкафа бутылку десертного вина, нарезал хлеб и приготовил что-то еще, уже не помню сейчас что. Я еще ни разу в жизни не пивала вина. А он так просил меня выпить, что я выпила сразу две рюмки, все сразу стало каким-то другим и новым. Он был такой смелый. У ме-

ня кружилась голова от вина и от чего-то еще, он начал меня целовать, и я не помню, как все случилось. Потом мне было ужасно противно. Я разревелась и убежала. Но через неделю Саша опять встретил меня и увел к себе. Он уже все знал и умел, он убедил меня, чтобы я ничего не боялась.

Все это время я по-хорошему встречалась с Толиком, но он ни о чем не догадывался, а Саша вдруг перестал показываться мне на глаза. Как-то я увидела его с другой девушкой. Он прошел рядом и сделал вид, что не знает меня. Я едва не вцепилась ей в волосы. Три дня ходила сама не своя, но тут как раз начались экзамены.

Мы с Толей поженились через полтора года, на Урале, куда нас направили на работу. Фабрика была маленькая, квартир не давали. Мы снимали с ним комнату у одной хозяйки и жили счастливо, хотя с продуктами было все еще трудно. Но Толик хорошо зарабатывал, я тоже, и мы жили с ним очень дружно. Моего брата Павлика тетя Маня отпустила в детдом, он воспитывался там до шестнадцати лет, а после закончил ФЗО и работал каменщиком в Москве. Мы редко писали друг другу. Но вот однажды пришло письмо из деревни от тети Мани. Она писала, что баба Густя умерла и что Павлик разыскал в Ленинграде мамину сестру тетю Нину. Ведь никого из родных, кроме тети Нины, у нас с ним не было. Но к этому времени у меня родился первый ребенок. Поездку пришлось отложить. Когда наша Катенька подросла, мы с мужем Толей взяли отпуск и поехали к тете Нине, на мою первую родину.

Тетя Нина даже встретила нас на такси. Она, конечно, постарела, но была все такая же, ничего ей не сделалось. Хлопотливая, добрая. Теперь она ни от кого не скрывала, что ходит в церковь. Мой Толик ей так понравился, что они говорили с ним часами, а Катю она не знала куда посадить и чем накормить. Толик не особенно любил ходить по городу, мы с ним только и были что в Эрмитаже и в цирке. А я изъездила весь город, побывала у Нарвских ворот, где мы жили когда-то. Съездили в Петергоф и на Васильевский, к нашей старой квартире. Однажды иду по Литейному и вдруг почувствовала, что за мной кто-то следит, идет чуть ли не по пятам. Оглянулась — какой-то парень остановился и смотрит. Господи, Костя Зорин! Он говорит: «Я уже полчаса иду за тобой, гадаю: Татьяна или не Татьяна». — «Татьяна, — говорю, — Татьяна». А сама так разволновалась, что даже покраснела. Правду говорят, что

первая любовь самая крепкая... Мы прошли с ним всю улицу, он рассказал мне, что учиться в институте водников, поступил после службы. «А ты почему, Таня, перестала мне тогда писать?» — спрашивает он. Я молчала. Что я могла ему ответить? Мы долго ходили с ним по набережной, устали, и он пригласил меня где-нибудь посидеть и перекусить. Он сказал, что рядом с общежитием есть хороший буфет. Мы зашли в буфет, но там ничего не было, кроме вина. «Пойдем, — говорит он, — у меня есть кое-что дома». Сам берет бутылку дорогого вина. Я, ничего не думая, зашла к нему в общежитие. Два его соседа по комнате познакомились со мной, сказали, что у них билеты в кино, и ушли. Мы с Костей выпили, вспомнили про снопы. Не буду рассказывать, что было после этого. Костя был уже совсем, совсем другой. Ничего не осталось от того стыдливового деревенского парня.

Я вернулась домой поздно, и, наверное, от меня пахло вином. Толик не спал. «Где была?» — спрашивает. И так пристал, как смола. Я сначала отшучивалась, потом говорю: «Где была, там меня нет. Подумаешь, разве трагедия!» Он все сразу почувствовал, не стал больше со мной говорить. А я назло тоже молчу. Может быть, все бы и обошлось, если бы Костя не пришел на вокзал, когда мы уезжали из Ленинграда.

Толик почти до самого Свердловска не выходил из вагона-ресторана. А когда приехали домой, он сразу собрал свои вещи. Я умоляла его все забыть, говорила, что ничего не было, и сама верила этому, готова была упасть ему в ноги. Но он все же пошел к дверям со своим чемоданом и сказал: «Дочку я у тебя все равно заберу». И тут я взбесилась и закричала: «А вот тебе от моей дочки! Никогда, век так не будет! Иди, проживу без тебя!»

И он ушел. Так неудачно сложилась моя семейная жизнь. После этого я возненавидела всех мужчин. Правду говорила моя подруга Люська, что мужчинам верить нельзя, что им всем надо от нас только одно.

Я уехала с дочкой с Урала на Север в Воркуту, устроилась на работу табельщицей. Но там был тяжелый климат. Тетя Нина писала мне, чтобы я отправила Катю к ней, я подумала и согласилась. Но сама тоже не осталась после этого долго в Воркуте, уехала в Ярославль. В Ярославле я поступила работать в один строительный трест в бригаду разнорабочих, говорили, что там быстро дают квартиры. Меня поместили в общежитие. Нас жило шесть человек в

комнате, одни молодые девчонки, я была всех старше. В комнате часто появлялись парни из другого корпуса и солдаты из города. Комендантша после одиннадцати часов ходила по комнатам и всех выгоняла, но некоторым удавалось остаться в общежитии на ночь. Один сержант, по имени Виктор, ходил к нам в комнату к одной девушке. Ее звали тоже Татьяной, и работала она штукатуром. Ночью как-то я проснулась и не могу больше уснуть. В комнате темно, девушки некоторые спали, а иные еще не вернулись с танцев. Из Таниного угла слышен шепот, потом началась возня и вдруг слышу, Виктор вскакивает, подходит в темноте к столу и пьет пиво прямо из горлышка. Походил, походил и опять на кровать к Таньке. И опять она его прогнала. Я закурила и говорю как бы шуткой: «Иди, Витя, ко мне, что ты ее уговариваешь». Даже сама не знаю, как и выскочило. А он не долго думал — и ко мне...

После этого, конечно, мне нельзя было оставаться в общежитии, я сняла комнату за Которослью. Виктор дослуживал последние дни. Он сразу сказал, что никуда не поедет из Ярославля. Я подыскала ему работу на стройке, у него имелась специальность монтера. Купила ему костюм и плащ, а когда забеременела, мы сходили с ним в загс.

Хозяева, у которых мы жили, были хорошие, добрые, за квартиру с нас брали немного. Дровами мы с мужем их обеспечивали со стройки. Когда мне дали декретный отпуск, я вдруг решила учиться на курсах бухгалтеров. Виктор был тоже не против, и я начала учиться.

Мы жили с Виктором очень дружно, никогда у нас не было никаких разногласий. Деньги он все отдавал мне, обе получки. Я получала еще алименты с первого мужа и копила на обстановку. Нам обещали уже однокомнатную квартиру. У нас рос хороший сын Миша, муж поговаривал уже и о дочке. Я закончила курсы и стала работать бухгалтером по снабжению в одной организации. Работа мне очень нравилась. Но квартиру мужу так все и не давали, и я начала хлопотать сама, через наше начальство. Представила справки о детях, меня поставили на очередь. Мы прожили два года на частных, пока нам не дали однокомнатную квартиру. Я как взяла ключ, так и побежала смотреть, и с работы не отпросилась. Господи, даже не верится! Комната большая, красивая, в кухне газ и вода горячая. Села на пол и реву как дурочка. Мы переехали в тот же день, в субботу устроили новоселье. Виктор позвал кое-кого да я своих счетных работников, всех набралось чело-

век двенадцать. Никогда я еще так хорошо не чувствовала себя. Мы пели и плясали под радиолу, а наш Мишка не вылезал с балкона. Все смотрел на город и на Волгу. Волга с пятого этажа была так хорошо видна.

Я уже говорила, что вначале семейная наша жизнь с Виктором проходила счастливо. Он сам съездил в Ленинград за дочкой Катей. (Тетя Нина написала в письме, что устарела, стали худые ноги, что девочка часто плачет.) Я очень боялась, будет ли он любить Катю. Но мои опасения оказались напрасными. Виктор никогда не отличал Катю от Миши, а наоборот, даже как будто больше уделял ей внимания. Однажды, когда девочка пошла в школу и показала ему дневник, он вдруг встал и расстроился. «Таня,— говорит,— почему ты записала ее не на мою фамилию? Хватит, я не хочу больше, чтобы кто-то стоял между нами». И он потребовал удочерить Катю и чтобы я отказалась от алиментов. Я сказала ему, не все ли равно, какая у Кати фамилия. Он так разозлился, что закричал на меня, а я не уступила ему. Тогда он как-то страшно посмотрел на меня. Взял из комода десятку и хлопнул дверью. Он пришел ночью пьяный, я не пустила его в постель. Мне было противно глядеть на него такого. Он ударил меня по щеке, дети проснулись. С этого дня у нас начались частые ссоры. Он был горячим, но я не уступала. В другой раз, когда я решила окрасить волосы, он спросил: «Таня, зачем? Кому ты хочешь понравиться?» — «Тебе,— говорю,— кому же больше». — «Тогда не крась, ты мне больше нравишься такая, некрашенная». Но я не поверила ему и покрасила, а он опять разозлился. С таких мелочей начинались все наши скандалы. Кончалось тем, что он уходил и напивался, как свинья, а пьяного я не могла его терпеть. Однажды мои нервы совсем мне отказали. Я не пустила его домой. Он не приходил целую неделю, я ревела, и все валилось у меня из рук. Соседи сказали мне, что он ночует в подвальной кочегарке. Надо было сходить и увести его домой, а я не могла переломить себя. Он пришел сам, мы опять помирились, но не надолго. Опять все началось с какой-то мелочи. Но он взял себя в руки и ничего не стал мне говорить против. Отшил от себя всех дружков, поступил в вечерний техникум.

К этому времени меня избрали в местком, и мы переехали в двухкомнатную квартиру. Виктор закончил техникум и защитил диплом «на отлично». Его поставили на хорошо оплачиваемую работу. Все было у нас хорошо, дети

росли. Материально тоже положение улучшилось, но меня подстерегала другая беда, начались неприятности по работе. Не буду описывать, как это случилось. Дело было в том, что я однажды нечаянно подписала неверные документы. Строительные материалы, которые поступали на базу, директор экономил за счет пересортицы и фиктивного списывания. Эти сэкономленные материалы уходили не по назначению, и я в следующий раз отказалась подписать такие документы. Директор звонит мне по телефону и говорит: «Глушкова, зайди ко мне на минуту». Я пришла к нему в кабинет. Он начал издали, говорил о коллективе, о том, что вот, мол, мы тебя избрали в местком, дали квартиру. А ты, мол, идешь против всех. Я разревелась. Он начал успокаивать и заверил, что за все отвечает он. И я снова провела через бухгалтерию фиктивные акты на списание. А через месяц базу начала проверять спецкомиссия. Ревизор из финотдела облисполкома сидел у нас целую неделю. Он передал материал в следственные органы. Меня судили вместе с директором и другими работниками базы. Защитник на суде — женщина — говорила очень хорошо, но мне все равно грозило по статье от трех до пяти лет заключения. В последнюю минуту судья — тоже женщина — опротестовала статью. Мое дело отправили на доследование и переменили статью. Мне присудили год обычного заключения.

Не буду описывать этот период в своей жизни, скажу только, что никому, даже врагу, не пожелаю такой жизни.

Виктор остался с детьми один. Он писал мне в лагерь, что выписал из деревни свою мать, говорил, чтобы я не расстраивалась, год быстро пройдет. Он даже выбрал время и приехал ко мне. Нам дали свидание, я бросилась к нему на шею и долго плакала, он меня успокаивал. Отдал мне фотокарточки Кати и Миши, передачу. Я видела, что он жалеет и любит меня, а когда он уехал, время пошло намного быстрее.

Вернувшись из заключения, я подошла к нашему подъезду и вижу: Миша играет в песочнице. Увидел меня и испугался: «Бабушка, бабушка, — кричит, — тут какая-то тетя!» И побежал к старухе. Это была мать Виктора. Я вырвала у нее ребенка, он заплакал и тянется к ней.

Я ничего не могу сказать о ней плохого. Но это из-за нее распалась наша семейная жизнь, из-за нее все началось. Она сказала мне, что не будет нам мешать, и в тот же день засобиравшись в деревню. А Виктор глядит на меня и

ждет, чего скажу я. Но я ничего не сказала. Он подошел и спрашивает: «Таня, ну чего ты молчишь? Ты что, хочешь, чтобы мама уехала?» Я опять промолчала. У него остеклели глаза, но он сдержался и говорит: «Ну, хорошо... Завтра поговорим». Утром он ушел на работу, а я не утерпела и начала говорить с ней. Я говорила, что наша жизнь и так сложная, что пожилому человеку в городе трудно, что ни к чему бросать хороший дом в деревне. Она слушает и перебирает передник. И вдруг заплакала. Ни с того ни с сего. В это время Виктор пришел на обед. Так из-за нее у нас в первый же день получилась жуткая ссора. Она уехала на второй день. Виктор проводил ее на вокзал и вернулся выпивши. Но после этого у нас снова все наладилось. Мы жили спокойно, пока я не заговорила о своей работе. Он говорит: на работу ты не пойдешь. Все. Я сразу насторожилась: «Это почему?» — «Ну, Таня, — он говорит. — Разве семья это не работа? Воспитывай Мишку с Катей, книги вон больше читай. А денег нам и моих хватит. Заработаю!» — «Ну, уж, — говорю, — нет. Я что, хуже других, дома сидеть? С утра до вечера в четырех стенах. Я всю жизнь в коллективе». — «А дети? Тебе детей не жалко?» — «Катя, — говорю, — в школу, а Мишку в садик устроим». Он хмыкнул, ничего не сказал.

Я устроилась на работу по своей специальности, правда, с меньшим, чем раньше, окладом. Мне казалось, что моя жизнь снова пойдет как следует, что все хорошо. Но я не замечала еще, что Виктор изменился ко мне. Он несколько раз начинал разговор о том, чтобы я родила еще одного ребенка, ему очень хотелось дочку. Помню, в последний раз он заговорил об этом в праздник, на Девятое мая. Но я не хотела даже и слушать об этом и уже записалась на аборт в больницу. В горячке я проговорила ему. Он весь так и побелел, встал из-за стола и сказал: «Никуда не пойдешь!» Но я все же ушла в больницу и не сказала ему адреса. Я не знала, что с ним было, пока находилась в больнице. Но когда вернулась, не узнала ни его, ни квартиры: он пил несколько дней подряд. С этого времени он начал пить каждую неделю, деньги с полочки уже редко приносил домой, приходил, раздевался и молча ложился спать. Но пьяным я не подпускала его к себе. Как-то я его просто столкнула с кровати, и он начал меня бить по щекам. Я убежала к соседям — у них был телефон — позвонила в милицию. Его увезли и дали десять суток ареста. Он пришел домой совершенно трезвым и ска-

зал: «Таня, этого я тебе не прощу. Не могу простить». Спокойно взял из шкафа свои документы, сложил пару сорочек и свитер. Я сидела на диване и даже не шевельнулась. Я была уверена, что никуда он не денется, походит, походит и вернется. Он подержал на руках Мишку, погладил по голове Катю. Скрипя зубами пошел к двери. Я не оставила его. И он не вернулся. Я напрасно ждала его день, неделю, месяц. Он завербовался куда-то далеко в Сибирь, написал мне через год, что женился и послал сразу восемьсот рублей новыми. Только тогда я окончательно поняла, какой он подлец. Я еще раз убедилась, что мужчинам никогда нельзя верить. Все они скроены на один лад. Я дала себе слово, что никогда, никогда больше не выйду замуж. Сменяла квартиру и переехала в другой город.

Сейчас я живу спокойно и не каюсь ни в чем, дети уже большие. Миша учится в ГПТУ, Катя работает. Денег у нас хватает, квартира обставлена. К нам ходит один мой знакомый, это спокойный, почти не пьющий человек, он всегда приносит с собой то шампанское, то цветы. Даже не знаю, где он достает эти цветы, особенно зимой. Однажды Катя выбросила его букет в открытую форточку. Я отшлепала ее по заднему месту, она заплакала и убежала, но все это простая блажь, она у меня хорошая девочка.

Миша как поступил в ГПТУ, так сразу и перешел в общежитие. Домой он ходит редко.

Мой знакомый сначала настойчиво предлагал мне зарегистрироваться, но я отказалась. Забыла сказать, что прошлой зимой я понемногу начала стучать на машинке, а недавно перешла работать секретаршей в трест. Меня попросили новую автобиографию для личного дела. Я начала ее отстукивать после работы. И вдруг вижу, что пошло совсем что-то не то, не для личного дела. Ну, думаю, наплевать, да и начала печатать все подряд, даже интересно стало самой. Так вот и отпечатала автобиографию за четыре вечера. Конечно, это не для личного дела, а так, для себя. Завтра мне исполняется сорок лет, мой знакомый опять припрется с цветами, а я не зн...

На этом текст обрывается. Последний листок весь сохся от каких-то пятен с разводами ресничной краски и лиловой губной помады.